

*Тем, кто устал верить,
что Рональд Макдональд любит детей.*

ГЛАВА 1

2002 год

«Гольфы, юбка, каждый день по тюремному распорядку... Все достало! А особенно — быть девчонкой. Нужно срочно устроить бунт!»

Так подумала я, однажды проснувшись, и в тот же день нарисовала огромный ярко-красный знак Анархии. Он занял все парадное окно моего закрытого женского пансиона.

Когда меня вызвали «на ковер», я попыталась абстрагироваться от всего мира. Завороженно наблюдала, как между шевелящихся напояженных губ директрисы растягивалась и сжималась мерзкая тоненькая слюнка. Директриса говорила — слишком много слов! Можно было и покороче объяснить суть, которая сводилась к тому, что я — инфантильная неудачница, обреченная на бессмысленную и убогую жизнь, гнилой огрызок посреди цветочной клумбы. Я не делала ничего, только все портила и отравляла. До конца своих дней я буду всем обузой. Позор своей школы и позор своих родителей.

Я молча вытирала с себя слюни, которыми меня щедро окатывала директриса. Меня не сильно задевали ее оскорбления, я привыкла. Просто старалась не



пропускать словесное дерьмо внутрь себя, и это мне легко удавалось — все приходит с опытом.

— Может, закончите уже, а? — Мне наконец надоел этот пустопорожний блев. — У вас что, других дел нет? Мне ваша болтовня по барабану. А у вас, я знаю, более приятное дело есть. С Петром Григорычем.

В пансионе я была кем-то вроде человека-паука, который умел лазить по стенам и видел каждый пятничный трах директрисы с физруком.

— Так давайте мирно разойдемся и продолжим заниматься своими приятными делами?

Я специально говорила так, как, по мнению большинства, должны говорить все трудные подростки, и для пущего эффекта катала во рту жвачку. Знаете, а я ведь всегда подстраивалась под эти стереотипы, — будто однажды кучка взрослых села за круглый стол и после долгого обсуждения составила их детальный список. И вот список под заголовком «Какими должны быть трудные подростки?» попал мне в руки, и я стала строить свою жизнь по нему.

Директриса, набравшая в грудь побольше воздуха, чтобы изрыгнуть очередной поток блева, от моих слов сдулась и теперь напоминала спущенный дирижабль.

— Савельева, что за чушь ты несешь? И как ты смеешь говорить с директором в таком тоне?!

Но по багровому лицу и бегающему взгляду было ясно, что она в шоке от того, что в тайну пятничных трахов посвящен третий лишний. Директриса всосала воздух, как пылесос, и опять разразилась гневной тирадой: стала кричать что-то о родителях и исключении. По ее лбу текли струйки пота.

Исключение? Боже, я мечтала об этом! Я угодила в эту «тюрьму» по прихоти дедушки-военного, который пристроил меня сюда по благу. Когда дедушка умер,

я подумала, что наконец-то кончится ад, ведь папа не сможет оплачивать мое обучение. Но не тут-то было, по договору я могла учиться до конца на бесплатной основе. Пришлось приложить усилия, открыть в себе художника, и — вуаля! — меня исключают!

Час моей казни настал вечером, когда приехали родители. С кирпичной мордой папа молча пережевывал гнев. Мама стояла за его спиной, опустив грустные глаза в пол.

— ...Разрисовала всю блузку сатанинскими знаками... — говорила директриса.

(Это всего лишь знак анархии, а не пентаграмма.)

— ...Называет учителей чернью...

(На правду не обижаются.)

— ...Включает на всю громкость свою вульгарную и пошлую музыку, не дает спать порядочным девочкам...

(Это «Красная плесень», у вас просто туговато с юмором, Галина Алексеевна, а ваши «порядочные девочки», между прочим, частенько по ночам устраивают мне темную: стаскивают с кровати, накидывают сверху одеяло и нещадно бьют ногами.)

— ...Портит имущество пансиона...

(Да-да, это о разрисованном окне. У вас отсутствует художественный вкус, Галина Алексеевна. И вы всегда говорили, что надо поощрять детское творчество.)

— ...Ты же девочка, ты не должна...

Пока она перечисляла, чего не должны делать девочки, я задумалась о том, что за всю жизнь «ты-же-девочек» услышала больше, чем израсходовала рулонов туалетной бумаги, и стала вести подсчет: а сколько действительно рулонов бумаги у меня ушло за все мои пятнадцать лет? Папа, прежде походивший на немую гранитную плиту, вдруг вlepил мне увесистую затрецину.



Черт, он меня сбил... Триста или четыреста рулонов?
У меня чуть башка не треснула.

Я снова занялась подсчетом.

Конечно, он задел меня. Не просто задел, а убил. В сотый раз.

Если в день я трачу примерно полтора метра бумаги в зависимости от соотношения «больших» и «маленьких» дел...

Волна обиды нарастала грохочущей волной.

Длина рулона около двадцати метров...

Даже если за всю жизнь ты получил тысячу отцовских затрещин, ты не оброс толстой шкурой.

Двадцать семь рулонов за год, а за пятнадцать...

К родительским побоям невозможно привыкнуть даже через десять тысяч ударов. Каждый раз — как впервые.

...Получается чуть больше чем четыреста рулонов.

Директриса, минуту назад говорившая что-то вроде: «У нас пансион для прилежных воспитанниц, сожалею, но мы не можем больше содержать вашу дочь здесь, она подает дурной пример», заткнулась и посмотрела на папу круглыми от ужаса глазами. Да, знаю, семейка у нас та еще.

В комнате, собирая вещи, я заодно прихватила чей-то телефон с соседней тумбочки. Выйдя на улицу, покатила чемодан по бугристой плитке, и грохот колесиков перебивал громоподобный голос отца за спиной:

— Как ты могла? Позоришь нас! Мы все для тебя делаем, за учебу твою платим, чтобы человека из тебя сделать, а ты...

— Постой-ка, папа. Ты не платишь ни рубля, это раз. Вы отправили меня сюда не для того, чтобы сделать из меня человека, а для того чтобы избавиться от меня, — это два! Вы же мечтали всех детей выселить

куда-нибудь, чтобы уединиться и трахаться в свое удовольствие! — бросила я через плечо, а в качестве кульминации выдула огромный жвачный пузырь, который лопнул с громким чпоком.

Я быстрее пошла вперед, к воротам. По дороге я считала плитки под ногами — отдельно желтые, отдельно серые.

— Как ты с нами разговариваешь? — рывкнул отец. — Воспитали неблагодарную сволочь жопорылую! Да по тебе военная школа плачет!

Я сбилась. Подсчет опять не получился. Плиток каждого цвета оказалось больше пятидесяти, но это все, на что был способен мой мозг.

Серdito бросив в багажник машины чемодан, я плюхнулась на заднее сиденье и, включив плеер, на три часа ушла в мир музыки.

Я радовалась, что навсегда уехала из этого ада.

Днище — гласила надпись на покореженном указателе, в который, судя по виду, неоднократно вписывались лихие, но не очень способные водители. Добрые люди черной краской, зачеркнув букву «ц», приписали сверху «щ».

Да. Я жила в городе, о существовании которого Бог забыл или даже не подозревает.

Находится он в области, в ста километрах от Москвы. А кого в советское время высылали за сто первый километр? Правильно. Бывших эков, алкашей, попрошаек и прочие асоциальные элементы. Так что во мне, коренной дни-щ-щенке, течет благородная асоциальная кровь.

На автобусной остановке спал бомж. На ржавой стене виднелась кривая зловещая надпись:

Твой автобус никогда не приедет.

Мы свернули с дороги и въехали в наш двор. Серое блочное здание, редкие деревья, унылая детская площадка. Дом, милый дом.



В детской родители уже перетаскивали в мой уголок раскладное кресло Славика. Не здороваясь ни с сестрами, ни с братом, я молча схватила его и покатила в коридор. Сидящий на полу Славик оторвался от увлекательной игры в гонки тапками и вытаращился на меня.

— Что ты делаешь? — возмутилась мама.

— Он не будет спать тут. Тут уже нет места. Я живу в этом доме и имею полное право хотя бы на два квадратных метра личного пространства. *Это*, — показала я на Славика, — плод *вашей* любви, вот и забирайте его в свою спальню.

Я решительно откатила кресло в комнату родителей, отнесла туда же и самого Славика, который до сих пор держал в руках тапки, а потом — его игрушки. Отца не было, он ставил машину в гараж, и мне противостояла только мама. Темпераментом и напором я ее превосходила, так что квартирную битву по завоеванию квадратных метров выиграла с легкостью. Я вошла в детскую и, чувствуя себя Александром Невским после победы над шведами, гордо поставила на освобожденное место свой чемодан, будто флаг завоевателя.

* * *

Табуретка. Стол. Клеенка с синими ромашками. Стан.

Шорох разрываемой бумаги. Плеск таблетки, упавшей в воду. Шипение.

Вверх поплыли оранжевые пузырьки.

Где-то далеко — звон бьющегося зеркала, папин рев, Олькин плач и перекрикивающий их телевизор:

В Вилларибо уже давно продолжается праздник, а жители Виллабаджо все еще моют посуду.

Бум! Бум! Бум!

Это Славик бился башкой об открытую дверцу морозилки.

Бах!

В меня полетела замороженная курица.

— Я хочу куриные палочки! Где мои палочки?! — орал младший брат, доставая из морозилки все подряд и разбрасывая во все стороны.

Шелест веника по полу. Свист чайника. Шипение убегающего молока.

Куриные палочки из ножек Буша, обколотых антибиотиками и гормонами и вымоченных в хлоре. Приятного аппетита.

Плюх! В стакан полетела еще одна таблетка. Цвет воды стал кислотно-оранжевым.

Пузырьки уверенно плыли на поверхность, зная, что там выход. Черт, даже гребаные пузырьки газа знали, где выход, а я нет.

В комнате — громкий Катин вопль:

— Ма-а-ам!! Славик нассал в стаканчик для карандашей, теперь они все мокрые и воняют!

Запах химического апельсина и подгорелого молока.

Бум! Бум! Бах!

— Где мои палочки? Я хочу их сейчас же! Даша, мандакрылая ты наседка, где мои палочки из курей??

Я залпом выпила витамин С, представляя, что это яд. Невозможно больше находиться в этом дурдоме.

Вернувшись в комнату, я взяла с тумбочки украденный из пансиона телефон, засунула его в лифчик, а затем решительно вышла в окно. Никто не заметил. Даже если я встану в центре квартиры с пистолетом в руках и выстрелю себе в висок, они не заметят. Здесь каждый всегда занят только собой.

Зацепившись за толстую ветвь дерева, я перебралась к стволу и ловко, как обезьяна, спустилась. На мне все



еще была школьная форма — клетчатая юбка и блузка. Ну и плевать. Я спрыгнула на землю и побежала к Тошке, в соседний дом.

Тошка (он же Тотошка и он же Антон, но полным именем я его никогда не звала) — мой лучший друг. Мы ровесники. В жизни ему повезло больше, чем мне, потому что он: а) жил в огромной трешке, б) был единственным ребенком в семье, в) не учился в дурацком пансионе.

Я зашла в подъезд и нажала на кнопку звонка квартиры на первом этаже.

Друг открыл дверь. Я не видела его с января. Родители забирали меня из пансиона только два раза в год — на зимние и летние каникулы. За месяцы, что мы не виделись, он немного подрос. На лице блуждала такая любимая кривоватая улыбка. Глаза-угольки смотрели растерянно, будто не узнавали; черные брови удивленно приподнялись.

— Тошка! — закричала я и бросилась его обнимать. — Я так соскучилась. Господи, когда ты подстрижешься? Твои волосы уже выросли в уши.

Я теребила неаккуратные лохмы, вдыхала их родной запах. Они пахли жареной картошкой, мазутом и железнодорожной смазкой — наверное, Тошка, как всегда, катался на зацепе.

— Сова! Я думал, тебя выпустят через месяц! — Он неуклюже обнял меня в ответ. Его голос был неровным, ломался.

— Из-за некоторых обстоятельств получила досрочное освобождение, — хихикнула я. — Попозже расскажу.

Кинув на тумбочку украденный телефон, я сбросила кеды и по-хозяйски прошла в квартиру. В ванной достала из шкафчика машинку для стрижки волос. Я столько раз ночевала у Тотошки, что знала, где здесь что лежит.

У каждой вещи было свое место, из года в год оно не менялось.

— На, держи. Сейчас будешь меня стричь.

— Чего? Это зачем?

Я посмотрела в зеркало. Мои светлые волосы отросли до лопаток. В пансионе запрещалось коротко стричься, и у всех девочек должны были быть строгие прически, никаких экспериментов. Но теперь мне можно все!

— Моя внутренняя свобода рвется наружу. Ее угнетали восемь лет, хватит. Так что стриги. — Я поставила в центр ванной корзину для белья, села сверху. — Да не ссы ты. Ты же папу стрижешь своего, у тебя все получится!

— Савельева, ты меня пугаешь. Может, не надо?

— Надо, Тотошка, надо! Мне жизненно необходимо устроить бунт устоявшемуся распорядку своей жизни, иначе я умру. Ты же не хочешь моей смерти? — Он покачал головой. — Поэтому стриги.

— Сегодня пятнадцатое мая, сатанинская луна, а стгичь волосы в сатанинскую луну нельзя, а то станешь дегенегатом, так мама говорит.

Я улыбнулась, услышав такой любимый картавый выговор.

— Тотош, *я восемь лет* изучала краеведение и латынь, я *уже* стала дегенератом, и сатанинская луна мне не страшна!

— У тебя ногмальные волосы, — вздохнул Тошка.

— Нормальные, ненормальные — не в этом дело.

— И сатанинская луна...

— Луну в зад себе запихай. Хватит тут ля-ля! Стриги, говорю!

Друг включил машинку и провел ею по моей голове. Срезанные волосы защекотали спину. По телу пробежали мурашки — ощущение непривычное, но мне это нра-



вилось! Тошка срезал полосу за полосой. Он сработал профессионально: сверху — оставил под двадцать миллиметров, с боков и сзади — совсем коротко. Я теребила ежик и не могла налюбоваться своим отражением.

— Ух ты! А у меня, оказывается, красивая форма черепа! Ну как я тебе?

Встав, я отряхнулась и покружилась перед Тотошкой. Он посмотрел на меня хмуро.

— Не знаю... Непгивычно...

— Ничего, привыкнешь. Ну что, пойдём на улицу?

— Пойдём!

— Слушай, дай мне из одежды что-нибудь приличное. В этом сраме не пойду. — Я показала на школьную форму. — Да и на него у меня другие планы.

Тотошка ушел в комнату, вскоре вернулся и протянул мне шорты и футболку. У меня были примерно такие же, помню, как вместе на рынке закупались летними шмотками. После убогих школьных юбок на каникулах я ничего, кроме мальчишеской одежды, не признавала. Достало все! Достало быть девчонкой! Родиться девчонкой — хуже, чем оказаться в аду.

Переодевшись, я глянула в зеркало. Во мне пробудилось новое незнакомое чувство: вроде отражение мое, а вроде и нет. Странно. Это волновало и немного пугало. Я удовлетворенно улыбнулась своему двойнику. Теперь меня не отличишь от мальчишки.

Что вызвало этот спонтанный порыв — вдруг так радикально перевоплотиться? Наверное, внутренний бунт и несогласие с окружающим миром, который злобно и назойливо стучит тебе по голове. *Ты же девочка. Надень платье. Улыбайся. Сдвинь ноги. Не плюйся. Не ругайся. Причешись. Не балуйся. Сядь в уголке и посиди тихо. Ты ведешь себя безобразно, как мальчишка. Ты не должна этого делать, потому что ты — девочка.*